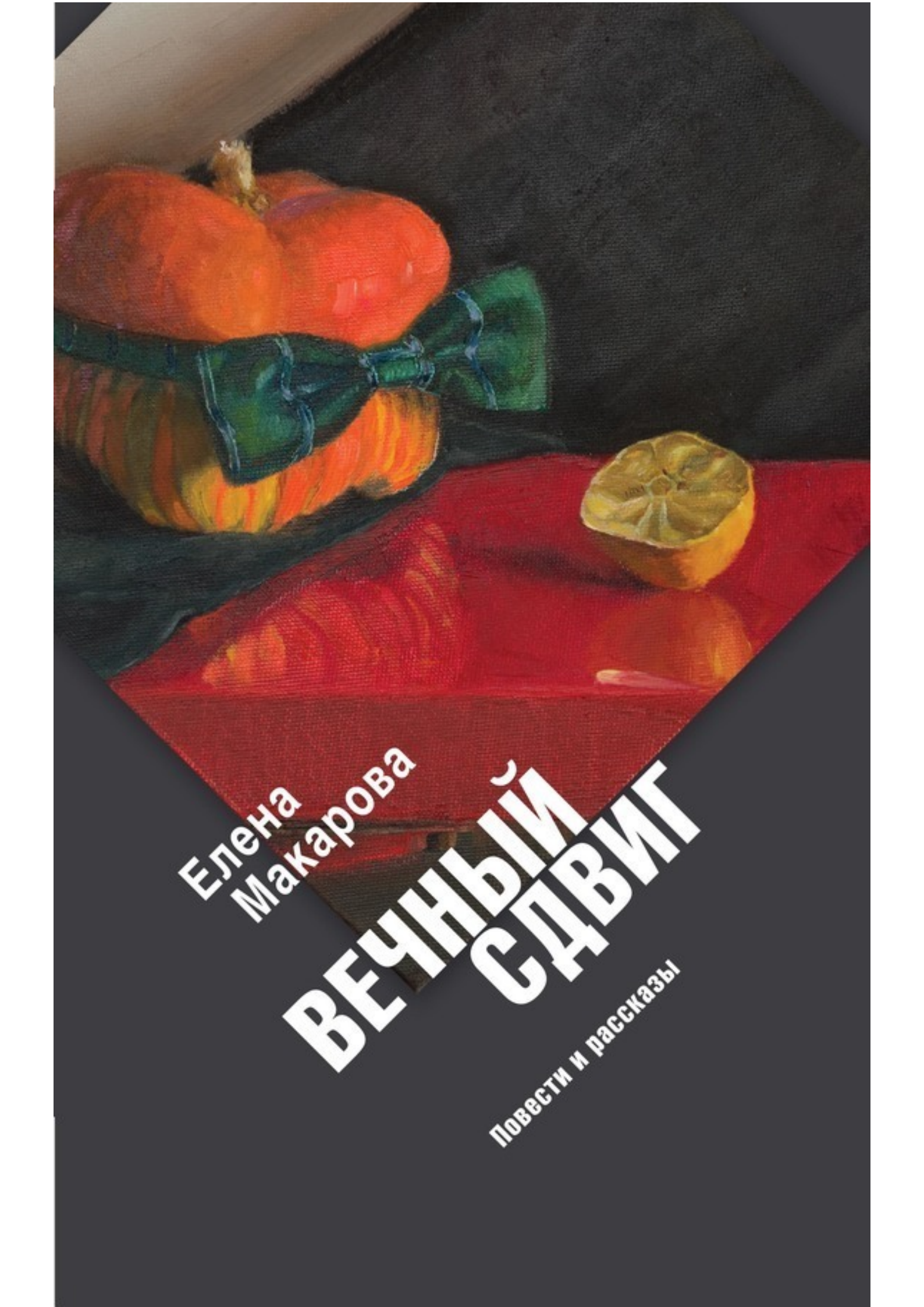


A still life painting featuring two pumpkins and a slice of lemon. One pumpkin is whole and orange, while the other is cut in half, revealing its green and orange interior. A slice of lemon is placed on a red surface. The background is dark and textured.

Елена
Макарова

ВЕЧНЫЙ СДВИГ

повести и рассказы

Елена Макарова

**Вечный сдвиг.
Повести и рассказы**

«НЛО»

Макарова Е. Г.

Вечный сдвиг. Повести и рассказы / Е. Г. Макарова —
«НЛО»,

Елене Макаровой тесно в одной реальности. Поэтому она постоянно создает новые. И ведет оттуда для нас прямые репортажи при помощи книг, выставок, документальных фильмов и всяких других художественных средств, делающих невидимые большинству из нас миры видимыми. Словом, Макарова доказала, что телепортация – не просто выдумка фантастов, а вполне будничное дело. И для того, чтобы в этом убедиться, остается только следить за ее творчеством. Елена Макарова – писатель, историк, арт-терапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. На ее счету больше 40 книг, переведенных на 11 языков.

© Макарова Е. Г.

© НЛО

Содержание

ПОВЕСТИ	5
Послезавтра в Сан-Франциско	5
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Елена Макарова

Вечный сдвиг. Повести и рассказы

ПОВЕСТИ

Послезавтра в Сан-Франциско

Тетрадь для технических записей

Наверное, это подходящее название для того, что я хочу написать. Или не хочу. Никогда не развлекалась таким образом. Мне предложил это Р. в качестве одного из наиболее эффективных способов. Способов чего? Он не объяснил, но я догадалась. Сведение счетов— задача техники. Тетрадь для технических записей презентовал мне К. в прошлый сансгивинг. Тогда я только познакомилась с Р. Он сказал, что вся моя философия заключена в слове послезавтра, что когда я жила в Союзе, у меня не было чувства будущего, а здесь мое чувство будущего выражается в формуле $n + 1$, но я в этом не смыслю. Я переспросила Р., что сия математика значит, а он сказал— послезавтра.

К. говорил, что первая книга у всех писателей выходит правдивой, а потом они начинают вырабатывать неповторимый стиль и замираются. Потому сейчас входят в моду дневники— люди истосковались по подлинности. Но я не собираюсь из себя ничего вымучивать. Это— не для печати, здесь за книги много не платят.

Р. сказал, что каждый писатель— это два человека, живущий и сам над собой надзирающий. Ему не позавидуешь— неужели даже в постели он не может отключиться и все фиксирует? Р. сказал— как когда, зависит от партнерши. По-моему, со мной он не фиксируется, впрочем, кто его знает.

Выходит, все, что я пишу, так или иначе связано с Р. Мне же, когда я решила на технические записи, хотелось прежде всего избавиться от Р. Он упырь, он присосался ко мне, чтобы вывести героиней своего романа про эмиграцию. Прекрасно себе воображаю, как я там у него буду выглядеть. Капризная эмигрантка со скандальчиками, упрямая и безвольная, но, между прочим, именно из-за него я снова стала курить ваньку с манькой. Упырь и кровосос, когда его нет рядом, я ощущаю его взгляд, он отовсюду следит за мной, под его неусыпным бдящим оком треглаза я переливаюсь разными цветами, как морской скат, и он фиксирует мельчайшие переливы. Нужно было так резко менять свою жизнь, чтобы попасть в зависимость, поди знай, какая зависимость тягостней— от системы или от одного человека. И еще этот чертов кот!

12.2.5. Что за цифры начирикала? Накурилась до галлюцинации. Я— собор, поверженный наземь. Кафедральный собор с Манхэттена, моя голова— шпиль, руки— колонны, чрево— вход, ноги— опоры. Я услышала свой голос: «Кажется, я умерла». Другой голос, наверняка Р., отозвался: «Послезавтра». Как Р. оказался со мной в ателье у Д.? Он меня выследил. Потом все стало тяжелеть и расплываться, не все, а белый собор, поверженный наземь. Может, я совершила ошибку, вернувшись в Нью-Йорк? В кибуце было хоть и скучно, но зато тепло. Нет, после России невыносимы никакие коммуны. Я спросила Р., бывают ли такие люди, у которых нигде нет своего места, нет вообще чувства дома, и он ответил, бывают, раз существую я, именно такой человек. Раз существует такой человек, значит,

существует и такое явление, поскольку в каждой частности заключено общее. Меня тошнит от мужской философии.

Ставлю цифры от фонаря, чтобы все запутать окончательно, связать в клубок и вышвырнуть его с четырнадцатого этажа. В Израиле я перекрасилась. Австралийка из нашей комнаты сказала, что зря— седина придавала мне пикантности. Зачем мне пикантность? Приехала одна моя старая знакомая, советская. Ее приезд меня добил.

Сорвалась. Наверное, из-за фильма про евреев.

9.11.1. Лень писать. К тому же я дала себе слово не читать чужих дневников. Не удержалась. Прочла дневник шестнадцатилетней проститутки Перлы из Терезина, по-английски. Когда прочла, обнаружила, что это книга писателя Люстига, все это он сочинил. Ник здесь в безопасности. Он не сможет упрекнуть меня хотя бы в этом, но в остальном... Ник сейчас в том возрасте, в каком были мальчишки, когда их вывезли из Терезина в Освенцим. И Перла в ночь перед депортацией пробралась к ним в барак, чтобы они запомнили женщину, ее вкус и ее тело. Р. считает, что женщины наслаждаются своей властью над мужчинами, при этом разыгрывают из себя жертв.

10.10.1. Я пожаловалась Р.,— устаю. Трудно после целого дня эфира писать. Р. усмехнулся. Только такие невежды, как я, могут думать, что если их научили в школе кое-как излагать чужие мысли, значит, они уже мастера слова. Долго вещал о том, какой это труд—грамм золота из тонны руды. Еще тот золотоискатель. Чтобы с ним спать, да так, чтобы он отключился и прекратил фиксироваться,— тоже надо быть в форме. Собиралась стелиться, но вспомнила один эпизод. Последний день в Минске. Все собрано, нет сил двинуться. Звонит телефон. Какой-то незнакомый голос спрашивает, не выручу ли я его, нужно написать траурную надпись на ленте, а контора на кладбище закрыта. Спрашиваю как профессионал, какую надпись, на каком языке, какого цвета лента. Голос объясняет. Но я никогда никаких траурных надписей не писала. Почему вы обращаетесь ко мне? А нам, говорит, посоветовали, сказали, что Фаня все умеет.

В принципе, я не собиралась упоминать свое имя. Я не существую. Но раз есть имя— значит, и я есть? Как сказал Р.— в каждой частности заключено общее.

К чему эта история? Просто я представила, как это выглядело бы здесь. Если бы кто-то к кому-то обратился среди ночи с подобной просьбой. Ответ один— человек не желает раскошеляться на траурную надпись. Поскольку не бывает такого, чтобы контора на кладбище была закрыта. Здесь все работает и все по назначению. Там мы друг друга учили, лечили, утешали, кормили, спать укладывали,— здесь это не проханже. На всё свои службы, это очень удобно, не надо морочить голову людям, нет нужды друг с другом советоваться. Но у нас осталась эта привычка. Хорошая она или плохая?— на это может ответить только Р., но я его об этом не спрашивала. Пошел он куда подальше.

10.5.2. Так и не спала. Вышла ночью за травкой. Повстречала в баре ирландца. Молчаливый и добрый с виду. Он проводил меня до дому. Ник проснулся, поворчал, что ему надоели мои ночные эндвенчесы. Ирландец понял только последнее слово. Успокоил Ника, что он, ирландец, еще никому не причинил зла, кроме самого себя.

1.1.1. Возила советскую на Брайтон-бич. Сфотографировались у океана. Хотела сделать наш двойной портрет, но, как назло, некому было щелкнуть. Она в отпаде. Готова рыдать над этой законсервированной бабелевской Одессой. Купила полпаунда селедки и маленькую икру. Интересно смотреть на все ее глазами. Сыграли шутку в меховом ателье. Снялись в дорогих шубах. Я— в голубой норке до полу, она— в ондатровом полушубке. Сказали продавщице, что предъявим мужьям фотографии, чтобы они сами решили, какая из шуб лучше. Выберут и купят. Взмokли, как мыши, пока все перемеряли. Зашли к матери. Это чудовище живет, чтобы меня терзать. Она купила себе очередное манто. Померили на советскую— тютелька в тютельку. Но мать вцепилась зубами— не перепродаст. Она с бед-

нотой не торгует. Все забыла. Как экономила каждую копейку, которую там не на что было тратить. Разве что на ковры. Но у нее всегда была куриная память. Р. определил мою мать как типичную представительницу черты оседлости, попавшую в рай беспересадочным путем. Когда Р. заводится, он говорит, что я такая же б..., как мамаша, потом похлеще, а потом хоть святых выноси. В такие минуты он напоминает мне Натана из «Софис чойз». Не хотела бы я кончать свою жизнь с Р., хватив напоследок цианистого калия. Конечно, Освенцим это не совдеп, но и у наших отбирали детей, и наши, возвращаясь после многолетней отсидки, их не находили. Мы с советской и с Р. долго трепались на эту тему. Р. утверждал, что евреям нечего делать в России, что Америке евреи на пользу, России во вред. Что обострение национальных проблем в нынешней России кончится очередным еврейским погромом. Когда он узнал, что у советской трое детей, схватился за голову. Сказал ей, что у нее потеря волевого импульса. Потеря волевого импульса, по мнению Р.,— болезнь интеллигенции в тоталитарных странах. Для евреев такая болезнь может оказаться смертельной. Р. говорил безапелляционно, и советская приуныла. Я сказала Р. в ее защиту, что все не могут уехать, кто-то должен учить, лечить, неужели одни идиоты. Р. ответил, что там, где народ семьдесят лет занимается самоуничтожением, никакие врачи и учителя не помогут. Тем более евреи. Перестройка напоминает ему труп, который вздрагивает от конвульсий. Я не знаю, зачем он так напустился на советскую, если сам недавно говорил мне, что, будь он сейчас в России, неизвестно, уехал бы или нет.

Я дала советской почитать рассказы Р. Она так и уснула с книгой, раскрытой на первой странице. Жаль ее. Купила для нее киви, она и не прикоснулась, бананы тоже не ест: как-то им из Чехословакии привезли банановый шампунь, и ее дочь плакала— зачем бананы переводят на шампунь, лучше бы так дали. У ее детей авитаминоз, короста на голове. Трудно все это себе представить, бедность так же быстро забывается, как боль при родах. Р. считает, что она никогда не очнется, система уже размозжила ей хребет. Я спросила Р., а что с нашими хребтами, все порядке? Р. ответил, что он ответствен только за себя. Но если бы у него были дети, он бы, вне всяких сомнений, уехал. Интересно, почему у него не было детей. Жаль, что я не объяснила советской раньше, что это за человек. Вернее, что за нечеловек. В книгах ему жаль и муравья, а в жизни он беспощаден. Ко всем без исключения. Он сделал ставку на свой талант, а здесь к таланту нужен еще и успех. В России успешный писатель вызывает справедливые подозрения. Здесь— признание. Р. вывез свой талант, как невесту на смотрины, но то ли она оказалась заумной для жениха, то ли он заломил слишком высокую цену. И провалился. Или всему виной его несносный характер?

Звонила Р. в Бостон, спросила, не видел ли он там советскую. Он сказал, достаточно того, что он видел ее здесь. Сказал, что они знают, кого к нам сюда засылать. Я его прикрыла, он обозвал меня лесбиянкой и круглой кретинкой. После приятной беседы с Р. пошла за зельем. Встретила ирландца. Вернулись домой вместе. Ирландец ведет себя странно. Может, он голубой?

Уложила ирландца в гостиную, забрала с собой Кузю. Кот обезумел, рвался к ирландцу. Заперла кота в ванной. Поднял крик. Вспомнила одну историю, хотела рассказать ее ирландцу, но он бы ничего не понял, она такая тоскливая, как привокзальная площадь Минска на рассвете. Кот просто рехнулся. В конце концов я вышвырнула его к ирландцу. Хорошо, что у Ника крепкий сон. Иначе с моими ночными бдениями он бы вырос неврастеником. Ирландец или не спал, хотя свет был погашен, или его разбудил Кузьма, но я услышала, как он увещевает кота по-английски. Эти твари не понимают, в какой стране им повезло родиться, со специальной жратвой и таблетками, убивающими потенцию. Котов здесь не кастрируют, а кошкам не делают полостных операций, чтоб не беременели. Советская рассказывала, как у них погибал щенок, как он мучился, и ничего нельзя было сделать. Вот от этого надо бежать. Бежать оттуда только из-за одного этого. Неужели Р. прав насчет атрофии

воли и зря я его пилила? Но дальше с ирландцем была смехотура. Он явился ко мне в трусах, держа Кузьму за шкуру. Он не голубой. К тому же у него еще нашлась травка.

3.103.1. К. приходил к Нику. Решал с ним задачи. Ник называет его отцом. У К. все в порядке. Меня он уже не любит. У него большая клиентура. Говорил, что в последнее время стал засыпать вместе с пациентами. Меня его гипноз никогда не брал. Но наши все его хвалят: помогает очень, особенно в период адаптации. У меня этот период или прошел, или не начинался.

Ирландца привлекаю, видимо, не я, а вид с балкона. Придет— и сразу на балкон. За чаем смотрит на меня с собачьей преданностью— у него узкое лицо и близко поставленные глаза. Человек в профиль.

3.101.2. В дневнике Перлы из Терезина есть такое место, где она перебирает последние слова уходящих на транспорт. Подруга спросила Перлу, как она выглядит, мать велела сыну следить за тем, чтобы там у него не промокали ноги. Почему меня тянет читать все эти кошмары про детей и газовые камеры? Неужели, чтобы удостовериться— существование имеет смысл? Я что-то плела об этом ирландцу, но он заснул. Я вышла на балкон в ночной рубаше, захотелось понять ирландца, что же он там высматривает? Вершины небоскребов в рассветных облаках? Фантасмагорическая декорация, сквозь нее проступает минская при- вокзальная площадь, монументальные сталинские коробки, серо-коричневые, ненавистные. Как в театре— два задника, тот, что ближе, небоскребы Нью-Джерси, тот, что дальше,— мин- ская привокзальная площадь. Я будто бы смотрю на это, одновременно находясь внутри, между двумя задниками. Нет, ирландец видит что-то свое. Может, сквозь небоскребы про- ступает его Дублин? Мой друг, шестидесятилетний герой Семидневной войны, презирал меня, бегущую из Израиля. Как объяснить ему, что я никем себя не числю: ни еврейкой, ни русской, ни советской, ни даже Фаней Л.?

5.10.5. По телевизору идет фильм Вока. Сегодня кадры расстрела в Бабьем Яру пере- били рекламой пылесосов. Американцы не могут долго этого выдерживать. Им нужно знать: вот это было тогда, а сейчас— бесшумные пылесосы. Американцы не заикливаются. После пылесосов продолжается расстрел. Очень натуралистично. Затем демонстрируют прибор для проверки содержания калорий в сыре. Наши считают это признаком душевной тупости. А по-моему— здоровья. Недавно мы с советской были в «Метрополитен». Там есть такая американская картинка— рыжая лиса бежит по белому снегу, над ней два коршуна. Вот- вот выключат ей печень. Зато на заднем плане— роскошный водопад, деревья, вода блестит. «Здоровые люди,— заключила советская,— не переносят трагизма, драму еще как-то могут допустить, но с хеппи-эндом».— «И чтобы был фан»,— добавила я. Я сказала советской, что не только американцам нужен счастливый конец. Просто в России быть счастливым непри- лично. Помню, как я рыдала тайком, какой переживала катарсис, когда доярка, после кас- када неудач, в финале повышает надои и выходит замуж за председателя колхоза. Над чем я плакала? Я же видела, что все это липа. Над тем, что человек бился и добился. Что вообще возможно чего-то добиться.

Отобрала для советской обувь и одежду. Все новое, с бирками. Р. покупает дом в приго- роде Бостона. Он сказал, что там я могу осуществить свои мечты по маковым плантациям. Р. хочет меня добить. Ночью кричал на меня, чтобы я ответила ему всего на один вопрос: прав Чаадаев или не прав, что история России бессмысленна? Я призналась, что не читала Чаа- даева, он меня ущипнул. Не сильно, но злобно. Все русские сумасшедшие, особенно евреи. Зачем Натан мучил Софи, хватило с нее Освенцима. Натан похож на русского еврея, исте- рик, в хорошем расположении духа— само очарование, в дрянном— садист. С кого его списал Стайрон, наверное с Р. Кузьма защитил меня, оцарапал Р. щеку. Р. его вышвырнул к Нику. Ник, совершенно сонный, явился к нам с Кузьмой. Это напомнило мне ночь с ирландцем. Я расхохоталась. Р. стал допытываться, чего я смеюсь. Я не могла остановиться. Тогда Р. зажег

настольную лампу, напялил очки и вперился в меня. Так художник примеривается к натуре, ищет ракурс, а Р.— место в романе, куда поместит меня, голую и хохочущую. Чего он не узнает— причины моего смеха. Что-нибудь придумает. Но лучше не придумает. Сюжет: кот— главное лицо, ирландец, я и Р.— второстепенные актеры третьестепенного фарса.

2.5.100. Новое веяние— ресторан «Гласность». На потолке русскими буквами написано: «Съел— и уходи». Наша беспардонность. Но американцы не поймут, а для русских это родное, привычное. Для них это фан. Продают майки за 20 долларов с портретом Ленина и за 15— с надписью «Перестройка». Ленин на пять долларов дороже перестройки. Выпила кофе, дешевый, за 50 центов, попробовала клюквенного варенья. За полчаса никто не пришел. Только один сумасшедший, на вид типичный русский псих, но говорящий по-английски. Маскируется. Спросила хозяина, как идут дела. Он сказал: «Только открыли, пока не густо». Ассортимент приличный. Рядом— ресторан «Руслан», дорогой. «Гласность» перешибет у «Руслана» клиентов. Помню, в Цюрихе чех-эмигрант пытался объяснить мне разницу между европейской ментальностью, с одной стороны, и американо-советской— с другой. Американцы и Советы, по его мнению, хотят научить Европу уму-разуму. Европа для них— это такая чокнутая старушка, которая что-то бормочет про себя, но Америка и Советы не желают напрягать слух. А европейская культура на самом деле это что-то внутреннее, сокровенное, к чему надо подходить не спеша и с почтением. Мне часто мужчины рассказывают интеллектуальные байки. Наверное, из-за моей обманчивой внешности, на вид я точно не дура. И умею слушать молча. В конце концов чех признался, что это было такое неудачное, спекулятивное оправдание европейской ментальности. «А что, как вы думаете, Европа действительно погибла в 14-м году?— спросил он у меня.— И это всего-навсего мертвая зона?» Было больно слушать его, лишившегося родины из-за нас, советских, из-за наших танков, которые вечно лезут куда их не просят. Это я понимаю, но почему Европа погибла в 14-м году? Мы пили с ним пиво, он рассказывал, что был редактором какого-то журнала при Дубчеке. Теперь печатается в эмигрантской прессе. Все— в прошлом, настоящего нет. Наверное, им тяжелей в эмиграции, чем русским. Прага так близка и так недоступна. Случайные встречи, не имеющие никакого развития, помнятся долго. Совпадение настроений, глобальный шмерц, и вот два человека сойдутся, говорят на черт знает каких языках и понимают друг друга. Флюид ностальгии? Ты тщательно прячешь его, загоняешь во тьму, но он вырывается на свет, находит зажженную яркую лампочку под оранжевым абажуром, и другой человек смотрит на другого обезумевшего мотылька, и видит тебя, и вы встречаетесь на короткий миг. Пока мотылек не улетает на поиски нового источника света. Нет, ностальгия— это не мотылек. Просто тоска. И вовсе не по родине. По неосуществившемуся.

6.200. Ирландца в кафе не было. Прошлась по центру. Снова вернулась в кафе. Нет. Вернулся на родину?

18.18.18. Мое любимое число. Звонила советская из аэропорта в Джерси. Летит в Итаку, в Корнел, где преподавал Набоков. Я млею. От одного ее голоса. Неужели Р. прав, я влюблена. Когда она повесила трубку, я подумала: с чем бы мне было жаль расставаться? Наверное, с чувством влюбленности. Вернее, с предощущением возможности любви. Но это, конечно, не относится к советской.

6.2.100. Набираю статью Р. о русской интеллигенции. Сколько уже об этом написано! У Р. пункт: интеллигенция всегда мешала государству. Ее истребляли и не истребили. Неряшливые, с землистыми лицами и мешками под глазами от ночных бдений, из века в век проворачивающие одни и те же идеи, интеллигенты не перевелись в этой богом забытой стране. Русская интеллигенция бескорыстна. В любые времена, в маленьких прокуренных кухнях, она кучкуется группами, по пять-десять человек.

У Р. явная ностальгия по прокуренным кухням. При первом чтении я предложила придумать что-то вместо кухонь, ну все об этом пишут, даже советолог Кевин Клосс. Р. не согласился— ему наплевать, кто что пишет. Все дети рисуют солнце и не боятся повторов.

Р. расспрашивал советскую, собираются ли теперь, в перестройку, интеллигенты на кухнях, о чем они говорят, верят ли в гласность.

Советская ему на это ответила, что у них пропала зубная паста и все моющие и чистящие средства. Так что все интеллигенты теперь собираются на грязных кухнях, едят из грязной посуды, и зубы у них желтые не от никотина, а от отсутствия зубной пасты. На это Р. ответил: если ты добровольно выбрал свинское состояние— хрюкай,— но советская сказала, что его предложение неконструктивно. Р. ответил, что конструктивные предложения в советской никогда не находили отклика. Они там не работают. Зачем он так напустился на нее, если совсем недавно говорил мне, что если б он сейчас жил в России, неизвестно, уехал бы он оттуда или нет.

8.5.1. День рождения Ника. Полночи поливала индейку водой. Грейт! Пришли ребята из школы, с девушками. Мы такими мечтали быть, но не были. Мы переплачивали за импортные шмотки, чтобы выглядеть как иностранки, но выглядели жалкими подобиями. Внешне свободные, внутренне зажатые. Меня приводят в восторг их походка враскачку, их маленькие грудки под свободными свитерами, природная грация— такими нельзя стать. Т. прислал поздравительную телеграмму. По-русски, латинскими буквами. Пишет, что приедет посмотреть на взрослого сына. Ник похож на Т. Но он его не помнит. И своим отцом считает К. Иногда мне хочется, чтобы меня втоптали сапогами в грязную лужу.

6.6.6. Ирландец или шутит, или молчит. Курит он для кайфа. Я— чтобы забыться. Но это же своеобразный кайф. Когда все расплывается и исчезает. Советская сказала, что я сильная, что найду выход. Но она судит по себе. Она там выживет, а я— здесь— сгину.

После работы прошлась по Централ Парку. Американцы планируют жить двести лет. Не курят, бегают и гоняют на велосипеде. Иногда они раздражают. Как раздражают трезвые пьяных.

7.6.5. Ирландец сказал, что мое существование— открытие. Он открывает себя через меня, как яблоко через граненый стакан. Не художник ли он часом? Я спросила, видел ли он картины Петрова-Водкина. Фамилия его рассмешила. Узнал слова «водка» и «Петр». Не слышал имен Ахматовой, Мандельштама, только Пушкина и Евтушенко. Сказал, что у русских слишком много писателей. Зато у ирландцев— один Джойс, и что самая лучшая шутка Джойса— «Поминки по Финнигану». Написана на разных языках, перевести ее невозможно. Литература для себя, для кайфа— это честно. Сегодня он был на редкость разговорчив.

Р. такое суждение не убедило. Он сказал, что Элиот, Джойс и все, как он выразился, герметисты, нарциссы по сути, а главная функция литературы— проповедничество. Обрушился на буржуазную культуру. Иногда Р. рассуждает совершенно как партийный босс. Хотя ненавидит партийцев. Наверное, лучше быть просто другим. Ирландец ничего из себя не строит.

8.7.6. Купила советской юбку точно под цвет ее глаз, с воланами на бедрах и узкую от колен. Может, она прекратит таскать джинсы? Какой бы она стала конфеткой, если бы дала себя подстричь, приодеть и накрасить. А что если ирландец— писатель и собирает на меня материал, как Р.? На что я им сдалась?

8.10.12. Разбудила бама в метро, устроился прямо под телефоном-автоматом. Пока я говорила с Ником, он недовольно бурчал. Предложила ему перебраться отсюда в более спокойное место. Он молча встал, нацепил одеяло на нечесанные патлы, такое огромное животное, Тарзан,— и удалился. А мешок с барахлом не взял. Чего там только нет— тряпки, бутылки, все с помойки. Интересно, вернется он за своим скарбом? Представляю, сколько бы народу валялось у нас в метро и на улицах, если бы их не гоняли менты. Помню, мы

с четырехлетним Николкой летели 29 августа из Минвод. Двое суток спали на раскаленном асфальте на картоне из-под тары. Все газоны были заняты. У Ника начался понос, рвота. Я оставляла его одного, металась по кассам, пробивалась к начальнику. Если б это животное потребовало за билет меня, я бы дала не задумываясь. Все бесполезно, ждите, ждите, может будет дополнительный рейс. Спасибо, нашелся какой-то фотокорреспондент из Москвы, он отдал нам свою бронь. О том, как я доберусь из Москвы в Минск, не подумала. Три дня с больным Ником проторчали у людей. Но это все равно не сравнить с Минводами. Воды нет, простой воды, какая там минеральная, еда— пережаренные пончики с повидлом. После этих пончиков Ник еще месяц болел. Нет, как вспомнишь все это...

Советская сказала, что в Череповце два месяца не было ни капли молока. О таких вещах, как мясо, они и думать забыли. Бедная советская, с каким восторгом она наблюдает, как я загружаю посуду в мойку, как ей нравится сидеть в прачечной, пить сок и наблюдать за шарабаном. Все без очереди, все спокойно. Иногда кажется, что она нагнетает, рассказывая о миллионе детей в домах ребенка, о том, как видела в доме ребенка, в центре Москвы, шестимесячного оперевшего малыша, с кровавыми язвами в паху, он кричал от боли, а нянька сказала советской, что она за 70 рублей в месяц не будет говно убирать. Еще рассказывала об исходе дебилов, как недавно решили, кто решил— неизвестно, дебилов с родителями отделить от дебилов-сирот, и как она была в доме на Кирпичной, куда свозили дебилов-сирот, и как они мычали и отказывались от еды и питья. Но если ничего нельзя сделать, как же можно на это смотреть, зачем она туда ходит? Ответ сразил наповал: чтобы собрать материал для диссертации. Тема: «Проблема выживания в условиях ограниченных ресурсов». «Чехов поехал на Сахалин не лечить, а переписывать население. Один человек не может одновременно решать две задачи. Разумеется, когда видишь таких детей, первый импульс что-то сделать, но потом видишь еще и еще таких детей и понимаешь: браться за кого-то конкретно— все равно что забивать микроскопом гвозди. Так что моя задача на этом этапе— поставить проблему».

Пока советская это говорила, я вспоминала ее в Минске. Обычно она помалкивала. Тихая беременная жена при буйном муже, усатом-бородатом-волосатом еврее, создателе огромного эпоса в стихах о путешествии Ионы в чреве кита. Он читал его главами в доме у К. Все изнемогали от тоски.

Советская сказала, что теперь есть шанс издать роман. Удивительно, сколько лет прошло, а роман не утратил своей актуальности! Будто Библия ее утратила! Они уже много лет живут в Москве, муж с недавнего времени легально преподает иврит, а она работает в каком-то социологическом институте, занимается малыми вымирающими народностями типа гагаузов, я о таких и не слышала. «А евреи по какой статье проходят?»— спросила я ее. «По семидесятой»,— сказала она весело.

10.10.10. Маниакальный психоз. Пробовала разыскивать ее через знакомых в Вашингтоне. Там она так и не объявлялась. Купила ей купальник. Не знаю, как понравится. Но она же нормальная баба, не ханжа. Ирландец нацепил купальник себе на голову, сказал: «Секси мэн». У них одно на уме.

Советская, что ни говори, ведет себя корректно. Все уговаривают ее уезжать, объясняют ей преимущества свободы, будто она и без нас не видит! Родить троих детей в таком кошмаре, заниматься кошмаром в кошмаре— какая нужна воля! Р. говорит, что это не воля, а целеустремленность, целеустремленность— признак ограниченности. Тогда он тоже ограниченный. Зато я— свободная. Мне с детства нравились романы, они мне заменяли все. Из школы помню— гомозиготы, гетерозиготы, кое-какие выдержки из кое-чего и мнения того-то о том-то. Из библиотечного института— только уборную, где польки из Западной Украины торговали косметикой и лифчиками, и сексуального маньяка по капээсне, который на зачете лапал всех подряд. Изогнется змеей, сунет руку под стол, и давай под юбками шарить. Такое

запоминается. Эх, звенеть бы в ресторане «Северное сияние»! Русские романсы исполняет жида-девочка Фаня Л.

1.1.0. Дозвонилась до М. Советская у них. Пьют, гуляют, вспоминают. Никто не изменился. Это они шутят. Не стала звать ее к телефону, чтобы не навязываться. Вечером набирала книгу Марченко. Поразительный язык. Таких описаний Сибири не сыщешь у Распутина. А как рыбу ловили! Никогда там эту книгу не напечатают. Рабочий, который дотумкал все про систему. Такие рабочие им не нужны. Я похвалила Р. «Живи как все», и зря. Он сразу: «Конечно, это факт литературы, но нет синтеза. Это воплощение без перевоплощения». Я рассердилась: «Но это же правда, кожей ощущаешь атмосферу преследования, видишь человека в кафкианском пространстве, как он рвет рукопись, выпрыгивает из окна, как его берут в метро,— наш вермонтский мыслитель тоже скептически отозвался о первой книге Марченко. Это у вас ревность». Ирландец сказал, что философы и шахматисты приведут мир к катастрофе. Я спросила, почему шахматисты. Он не ответил. Может, он шахматист? Интересно, что все размышляют о том, что приведет мир к катастрофе, в то время когда она уже произошла. Присутствия ирландца в доме не замечаешь. Впрочем, как и его отсутствия.

12.12.1. Содержит ли эта странная нумерация скрытый смысл? Надо обратиться к кабалисту. Если уж в броуновском движении есть структура, то в моей нумерации она есть и давно. А что если бы мне открылся ее смысл? Вспомнила: иду в школу, первого сентября в десятый класс. Обычный путь— мимо бетонной ограды детского сада. И вдруг понимаю— точно такая же бетонная стена отделяет меня от чего-то, что я не могу постичь. Но от чего? Неизвестно, потому что это что-то за бетонной стеной. Ощущение сходное с тем, когда ты хочешь вдохнуть полной грудью и не можешь. Воздух доходит до гортани— и обратно. Нет, и это не похоже. Не знаю, как выразить. Бетонная стена— и все. И ты не понимаешь, ты действуешь, как в ослеплении, словно тебе в глаза направили прожектор, тебя все видят, ты— никого. И ничего. Вещи не существуют отдельно от тебя, но ты же понимаешь, что они существуют. И в каждой свой смысл. Я никому этого не могу объяснить.

12.1.12. Почему я пишу «советская»? У нее есть имя, обычное, типа Лена-Таня-Оля-Галя. Может, в глубине души я все-таки рассчитываю опубликовать дневник? Тогда советскую опознают. Дать ей вымышленное имя? Но я поклялась не называть никого, кроме себя и Ника. Всех обозначить инициалами. Назвать ее Э.? Пусть будет Э. Во всяком случае на эту букву нет ни одного ругательства. Присутствие Э. успокаивает. Все хорошее хочется прибрать к рукам. Так и с Э. Но она прилетит в Нью-Йорк на несколько дней, и у нее тысяча планов. Она боится чего-то не успеть, наверно установка на «сегодня»— так как неизвестно, будет ли завтра,— делает человека активным. Моя же философия— послезавтра, которую мне припаял Р.,— располагает к оправданию внутренней неподвижности. Все переносится на послезавтра. Советская назначает на один день пять апойнтментов. Носится на такси, хотя я ей объясняла, что все нормальные люди в Нью-Йорке назначают на один день максимум два апойнтмента. Когда я говорю ей это, она сердится: у американцев есть хоть какая-то уверенность в будущем, поэтому они планируют жизнь на несколько лет вперед, у нее этого нет, она должна выложиться по максимуму.

Увидела у меня на столе дневник Перлы, вцепилась в него сразу. Рассказы Р. читать не стала. Меня это огорчило. Говорит, в дневнике Перлы узнала некоторых персонажей, например, под художником— Фритту. Смотрели с ней сериал Вока, узнала Терезин. Нашла, что Вок ошибся в некоторых деталях. Например, у главной героини отнимают в Терезине пятилетнего ребенка, такого не было. Пятилетние дети там жили при матерях, а когда матери работали, за детьми следили воспитательницы. Откуда она знает? Изучала систему здравоохранения в лагерях, но и попутно кое-что прочла. Зачем? Для того же исследования про ограниченные ресурсы. Я сказала Э., что сошла бы с ума от таких исследований. Она согласилась: с одной стороны, это тяжело, с другой— обнадеживает. Ей важно проследить момент,

когда у человека, дошедшего до полного нуля, открывается второе дыхание. Шмерц! Я сказала ей, что ее исследования— это попытка доказать самой себе, что там можно жить. На втором дыхании. На это она ответила— ей больше нравится общаться с американцами, они не лезут в душу. Нет, я только под травкой ощущаю прилив сил и абсолютную уверенность в том, что живу накануне грандиозного открытия, еще пару затяжек, рухнет бетонная стена и тогда... Что тогда?

9.8.1. Видела во сне Ф. Как я приезжаю к нему в Цюрих, в какую-то гостиницу в мелких цветочках. И застаю его с Евой, нацисткой, белокурой гадиной, которая говорила, что еврейскому вопросу придадут слишком большое значение, что, сколько их ни истребляй, они все равно вылезают и прибирают денежки к рукам. Я ее избил. В пивной. Меня посадили, нет, это не сон, меня привезли в участок, и я должна была или заплатить кучу денег за оскорбление гнусной личности,— нос я ей расквасила неплохо,— или отсидеть за хулиганство. Ф. нанял адвоката, проклиная меня последними словами. А во сне он будто бы спит с этой курвой, я кричу на него, он выходит в коридор и собирает там цветы с обоев. Дарит мне пестрое обойное крошево. Оно просыпается сквозь пальцы на гостиничный пол— луг с мелкими полевыми цветочками. Что будет Ф. за разодранные стены? Потом мы возвращаемся в номер, никакой Евы там нет. Он как будто бы Натан, я как будто бы Софи. Он спрашивает меня, как я выжила. Я объясняю, что мне ничего не оставалось, как вернуться в совдеп. В Цюрихской тюрьме можно было бы и пожить, но адвокат получил денежки и быстро закрыл дело. А Ф. так и остался с этой нет слов кем. Во всяком случае, в Штаты не вернулся. Как я была в него влюблена! Если б не эта скотина, никогда бы не узнать, какой подонок Ф. Интересно, она знает, что он еврей? Все вру. После того как я вернулась из тюрьмы, я еще три месяца жила с Ф. Унижалась, приставала к нему, липла как репей. Причина? Красивая жизнь в Европе без Ника, без матери? Наслаждение от того, что тебя топчут и растаптывают? Наконец-то тебя растаптывают! Вдруг за бетонной стеной обитает миролюбивое чудовище— оправдание, которого я так жажду?

0.0.1. Пока я здесь занимаюсь плетением кружев, Р. пишет мой монументальный портрет. Затем и бросил меня,— большое видится на расстоянии. Между прочим, я сейчас заметила, что по отношению к Р.— сплошь скепсис. Работа на вытеснение, объяснил мне К. У Р. прилив любви к прототипу. Сказал, что одно желание— и весь роман рассыплется прахом. Я спросила: мое желание или прототипа? Хотя неизвестно, где я, а где мой прототип.

Э. рассказывала, что ее близкая подруга, талантливая писательница, сочинила повесть про режиссершу. Ту, что поставила в театре другую повесть писательницы, из книги. Я спросила ее фамилию, но Э. сказала, что она мало кому известна. Дело в данном случае в самом сюжете. Режиссерша разыскала писательницу, чтобы пригласить ее на премьеру спектакля. После премьеры писательница написала повесть о режиссерше. Потом, когда они сдружились, она ей дала прочесть эту вещь. В повести писательница свела режиссершу со старым генетиком, отбывшим лагеря, умным, добрым и совершенно одиноким. У режиссерши не было квартиры, она поселилась у генетика, к его большому удовольствию. Параллельно у нее начался роман с молодым врачом, который собирался уезжать. В то же время ее театр закрыли по идеологическим причинам, жить ей стало не на что, и врач предложил ей с ним уехать. Но как оставить генетика? Он совсем стар, не может за собой ухаживать. К тому же с ее стороны это не просто благотворительность. Это духовная близость двух людей разных поколений, одиноких и никому ненужных. Она решает остаться. На режиссершу роман произвел оглушительное впечатление. Она сказала писательнице, что в нем вся правда о ней и нашей жизни, что писательница проникла в такие закоулки души режиссерши, о которых она и знать не знала. Но финал ее огорчил. Она решила не поддаваться на литературную провокацию и уехать. Хотела в Америку, попала в Израиль. Звонит теперь писательнице из Иерусалима и плачет. Если бы и вправду на свете существовал этот генетик, она бы с ним

осталась. Но генетик-то существует! Просто писательница свела в повести двух известных ей людей, не знакомых друг с другом.

Как же тогда быть с романом Р.? Неизвестно, какой финал он мне предуготовит. И как поступать— в соответствии с ним или вопреки ему? Интересно, что я делаю на его страницах? Шляюсь по ночному городу в поисках травки и ирландца? Или он с бунинской страстью описывает мой атласный халат и блеск глаз? По-моему, ему должно мешать все то, что он обо мне знает. Разумеется, он не преминет изобразить сигарету, описывающую круги между большим и указательным пальцем, яркая деталь. Нервический смешок? Нет, банально. Может, он поместит меня в тот корабль, что плыл из Германии в Сент-Луис с евреями на борту и вернулся домой ни с чем,— евреев не взяли. Не схотели их здесь тогда. И скоро снова не схочут. Перестройка. Чтобы переделать меня в немецкую еврейку, Р. придется сильно попыхтеть.

2.0.0. Мать вознамерилась съездить в Россию. Что вдруг? Хочет посетить родные могилы. А тетю Эту? Свою любимую сестру, которой она не выслала отсюда ни одной посылки? Решив отъехать к родным могилам, она стала сентиментальной. Рассказывала Нику, как мы хорошо там жили, в тесноте да не в обиде, все вместе, а теперь ее все забыли. Уж ей-то жаловаться! Отдельная квартира, окна на океан. Послушать ее— так непонятно, зачем было уезжать. Соседи добрые, город чистый, продуктов хватало. Все это она говорит, чтобы досадить мне, ждет, когда я взорвусь. Но я беру пример с Ника. Он слушает ее, поедая жаркое, обгладывая тщательно куриные кости— как он напоминает своего отца! Невозмутимостью, умением пропускать мимо ушей все, что его не интересует. Говорят, у Т. набожная жена с вечной мигренью. Может, все к лучшему. Пришлось заводить драндулет и везти мать на Брайтон. Остаться у нас— ни за что. Зачем ей эта теснота и сигаретный дым! На обратном пути завернула в Сохо. Долго крутилась, негде было запарковаться. В праздники ужасный трафик. В ателье у Д. полно советских. Авангардисты. Сейчас они в моде. Их охотно берут. Д. представил меня как прославленного диктора. Кто-то из советских божился, что слышал мой голос. Теперь не глушат даже самую безобразную радиостанцию, на которую Р. меня сосватал.

Рассказывали: Вейцберг умер, Сидур умер. Ругали совдеп. За что его любить, таких художников загнал в могилу. Я-то не знаю ни Вейцберга, ни Сидура, ни Элиота, ни Джойса, ни герметистов, ни концептуалистов. Авангардисты— концептуалисты или нет? Я— плебейка. Но иногда, спяну, наберусь смелости и спрошу: а кто такой Сидур? К примеру. Но только спяну и только когда в себе уверена.

Д. разглагольствовал про язвы совдепа. Любит пошуметь, но он настоящий работяга. Д. говорит: американцы щедро раздают лавры, не боятся перехвалить, а наши— об очевидном гении не скажут доброго слова. Потому что мы— дети совдепа— говорим только от лица миллионов, несем партийную ответственность за свои слова; мы представляем собой или весь континент или, при невероятной скромности, всю страну. Советские кивали. Они похожи на мужиков, которые согласно петровскому указу явились бриться. Д.— Петр I, высокий и бритый под ноль, произносит перед ними речь о пользе безбородости,— и они согласно кивают. Когда я уходила, Д. извинился, что не уделил мне должного внимания. Я спросила, какое это такое, должное внимание. Он захихикал. Мужчины такой народ, пусть они сто лет тому назад случайно переспали с какой-то бабой, они уже считают ее своей, мол, только снова захочу... Наплевать. Все-таки это единственное место в Нью-Йорке, куда можно завинтиться без звонка и в любой кондиции. Д. меня не раз выручал, так что я на него не в обиде. Могу и впредь припираться сюда, когда вздумается.

2.1.85. После Марченко трудно набирать А. Все правильно, но скучно. Бросила. По пути к матери зарулила в кафе. Ирландец на месте. Наверное, у него никого нет. Или ему здесь нравится? Помню, когда мы прилетели в Вену, меня поразила одна старушка. Она

пришла в ночное кафе со своим бисквитом. Ела его аккуратно, ложечкой, ни с кем не разговаривала. Поела и ушла. Я спросила у приятеля К., поляка-эмигранта, зачем она пришла сюда, ночью. Он не понял вопроса. Захотела и пришла. Но зачем? Захотела и пришла, повторил он. Теперь мне это вроде бы понятно. Пока я относил матери деньги, ирландец спал в машине. Он был не совсем трезв. И чем-то опечален. Или мне показалось? Часто свое состояние переносишь на другого, но скорее всего он действительно был огорчен.

Прошлись с ним вдоль океана. Обычно здесь ветрено, но этот вечер был тишайшим. Сонный океан. В России уже снега, а здесь все цветное. Прожекторы высвечивают яркие пятна— желтый клен, серебряный клен, красный куст, не знаю, что это,— и темно-синее небо с океаном. Ирландец молчал, а я вспоминала, как прошлой осенью летела в Вашингтон через Филадельфию на малюсеньком самолете. Земля была близко, извилистая, с прожилками лесов, с волнистыми краями полей, ничего квадратно-гнездового,— и вдруг дух захватило от благодарности этой земле, ее свободному существованию. Ирландцу такого не скажешь. Он не любит патетики. Впрочем, кто знает, какой он и что он любит? Я спросила его про Ирландию. Оказывается, он там не был. Его родители приехали в Штаты задолго до того, как он появился на свет. А как же Джойс, «Поминки по Финнегану»? Может, он выдумал, что он ирландец?

1.0.18. Звонила Э. из Вашингтона. Сказала, что разыскала Люстига, автора Перлы. В восторге. Точно такой же, как на фотографии, с шарфом, заправленным в ворот белой рубашки. Люстиг водил ее в ресторан, рассказывал про воровство в Терезине, он пацаном ловко крал и его за это все уважали. Сказал, что воровал и в Освенциме. Она еще минут пять пересказывала Люстига,— я не вслушивалась. Думала, понимает ли она, какой подарок мне ее звонок. Я-то решила, что ничего для нее не значу, так, место, где можно спать, хотя без особого комфорта. Э. уверена— мне непременно надо познакомиться с Люстигом. Этот человек способен поддержать мой дух. Может, познакомиться? Неужели она думает, что встреча может что-то изменить? Кажется, меня бы не спас и сам папа римский. Впрочем, для чего спасать? Что уж такого со мной происходит?

20.5.70. Р. в эйфории. Роман движется к развязке. Я спросила, не слишком ли он спешит. Р. сказал, что спешит не он, а текст. Он буквально рвется вон. Наводил справки о нашей минской квартире. Будто я ее ему не описывала! Все повторила: обычный сталинский дом, с большими лестницами, квартиры с высокими потолками. Три семьи, в каждой комнате по одной. Очень типично и малоинтересно. Предложила ему более романтический вариант. Квартиру нашей с Т. приятельницы в Риге. Примечательная деталь— такая узкая улица, что можно дотянуться рукой до противоположной стены. В доме напротив потрясающий персонаж— Изида. Она лежит на кровати, у открытого окна, голая по пояс, между грудями— пепельница, иногда клиенты приносили ей кофе в постель, чашку она ставила рядом с пепельницей. Монументально, но Р. не воспламенился. Его интересовал интерьер нашей квартиры. Описала: ковры кругом,— страсть матери,— портрет отца на стене в военной форме, три кровати и стол посередине, круглый, под плюшевой скатертью. Ваза с искусственными розами в центре. Это его устроило. Пусть пишет это. А может, теперь я у него буду не только жонглировать сигаретой, но лежать под портретом отца с пепельницей меж грудями? Технические записи идут мне на пользу. Начинаю тихо ненавидеть Р.

1.0.94. Из-за нумерации не понимаю, что когда было. Срочно нужен каббалист. Тот день, когда я описывала Р. нашу квартиру и Изиду, закончился весьма плачевно. Для Р. Он примчался из Бостона, видно, выехал сразу после разговора со мной, видно, учуял что-то неладное, то есть именно то, чем я завершила предыдущую запись. У него ключи от квартиры. Мы же с ирландцем гульнули. Были в тайском ресторане. Ели грибной соус и маленькие шашлычки, невероятно вкусные. Выпили, само собой. Так что были навеселе, если такое применимо к ирландцу. Он всегда примерно в одной кондиции. Я, может быть, кокетничала

больше обычного, хохотала, как говорит Р., зазывно. Р. встретил нас не очень, скажем, приветливо. Ирландец сел за стол, как обычно, в ожидании чая. Р. завелся с полуоборота, кричал, что я загубила не только его, но и его вещь, я пыталась утешить его: «Напротив, ты углубишь характер»; на мою издевку Р. прорычал как раненый тигр, сказал, что готов убить меня на месте, я спросила, что ему мешает, он сказал, этот твой, так его растак, и чуть не кинулся на ирландца, хотел выхватить у него из рук детектив, который тот уже две недели исправно читает,— но ирландец встал и ушел на кухню, лучше бы он ушел совсем. Но он вернулся со стаканом воды для Р. Тот выплеснул воду ирландцу в лицо, ирландец снял пиджак, встряхнул его и повесил на стул. Р. скинул пиджак на пол. Ирландец поднял пиджак и ушел в комнату, где, как считает Р., имеет право находиться только он. Я стала удерживать Р., хорошо, что Ника не было дома. Но я боялась, что он вот-вот вернется и застанет эту сцену. Ирландец тем временем высушил пиджак утюгом, я это поняла только после, когда увидела расставленную гладильную доску, попрощался со мной и пошел к лифту. Я выбежала вслед за ним. Но он не требовал ни объяснений, ни извинений. «Не люблю Достоевского, слишком похоже на жизнь»,— сказал он, входя в лифт.

Когда я вернулась, Р. лежал на нашей постели, уткнувшись в подушку лицом. Я подняла его за плечи. Он плакал. Он плакал, как маленький мальчик, повторяя: «Я так и знал, я так и знал». Я легла с ним, но он отодвинулся на другой край. Тогда я ушла в гостиную. В голову лезло черт-те что. Я не могла разобраться в своих чувствах. Скорее всего, мне все было противно. Но более всего я была отвратительна сама себе. Потому что мне было страшно потерять Р. Ирландец ирландцем, но с Р. меня многое связывает. Терять страшно, даже когда умом понимаешь, что это к лучшему.

18.17.16. Р. уехал до того, как я проснулась. Посмотрела на себя в зеркало. Неужели вон та— это я? Седая, с мятым лицом, с разводами туши под глазами? Какая-то старая гримза с картин Тулуз-Лотрека.

Куда бы спрятаться, зарыться с головой? Напустила полную ванну воды. Под водой тело разгладилось, уже не такое противное, как в зеркале. О чем думает старая б...? Разумеется, о первой любви. Мне было двадцать, ему— семнадцать. Я уже встречалась с Т., отцом Ника, но там ничего не было, кроме обычных отношений между людьми противоположного пола. Собственно, они и завершились потом, через полтора года, рождением Ника. Мальчик кончал десятый класс, писал стихи, поразительные, как тогда казалось в провинции, нет, вру, провинция тут ни при чем, стихи были талантливые, жаль, не осталось в памяти ни строчки, но я и классиков не помню, так что это не показатель. Сейчас мне кажется, что он был похож на юного Блока— курчавый, большелобый... Впрочем, не помню. С Блоком— неправда. Аберрация зрения. Просто хорошенький мальчик. Поэт. Мальчик знал про существование Т., он писал мне стихи в тетради, тетрадь не пропустили таможенники, во всяком случае, я их хранила. Разумеется, была весна. Тогда казалось невероятным чудом— любовь весной, какое совпадение, ай-ай-ай, но сюжет избит, исполосован ремнями литературы. Если бы можно было переделать прошлое, я бы поселила наш роман в лютую зиму. Но и зимние романы обрисованы классиками. Никуда не денешься. Значит, был прекрасный весенний день, когда впереди целое лето, трава зеленая, мелкие цветочки, голубенькие, беленькие, желтенькие, самые первые, не знаю, как они называются, очень нежные. Я ощущала кожей или подкожей, как его влечет ко мне и как он борется с собой. Зачем, подумала я. И соблазнила его. Все произошло, как говорится, стремительно, мальчик был счастлив, а я свернулась калачиком, уткнулась головой в траву. Хотелось превратиться в улитку, и чтобы кто-то наступил на панцирь и раздавил его. Мальчик меня утешал, обещал завтра жениться. Когда я развернулась, то увидела холмистый ельник, с которого мы сбегали на эту поляну, я что-то такое почувствовала, то ли страх, то ли испуг, и снова свернулась в улитку. Помню, деловито прошмыгнул муравей, огромный, как слон, за ним еще один. Мальчик курил и гла-

дил меня по панцирю. Я все слышала— жужжание проснувшейся мошки, шорох пробивающихся сквозь землю стеблей. Мы проскитались с ним все лето по каким-то лесам, деревням, а потом его мать сделала все, чтобы отправить его в армию. Когда он вернулся, это было страшно. Это было страшно, потому что вернулся не он. И никто никогда не разубедит меня в том, что армия— это конец. И я сказала Т.: «Мальчиков нужно увозить». Нику тогда не было и года. Выходит, я здесь благодаря поэту. Благодаря той минуте, когда я увидела его после армии. Я стала искать людей, которые собираются отъезжать. Встретилась с К. Вот уж его я точно взяла гипнозом. Мы поженились и вместе подали. Для чего, разумеется, пришлось разводиться с Т. Т. вел себя благородно, но попробуй мне возрази! Т. пришлось отказаться от Ника. Он сделал это молча. Здесь я поняла, что это за бред. Если бы мы решили с Ником эмигрировать в Канаду, Т. не нужно было бы отказываться от сына, а К.— его усыновлять. Я говорю Э.— у тебя два сына, им предстоит армия. Нет, говорить об этом— все равно что вращаться на карусели, у которой отказал стоп-кран.

18.18.18. Прилетела Э. Полна впечатлений: города внезапно вырастают на дороге, едешь— вдруг перед тобой огромный город, секунда— и его нет, а потом ты непонятно каким образом оказываешься внутри него, про выставку каких-то пенсионеров с чистым незамутненным взглядом, но не как у детей, а как у стариков, процеженным и отфильтрованным временем, про карусель, которую какой-то дедуля мастерил с семидесяти восьми до восьмидесяти шести лет, про механическое пианино в Кембридже, как пожилые люди следят за текстом старого мюзикла на вертящемся шарабране и поют, пожилые люди ее потрясают, подвижные, мобильные, будто, освободившись от работы, они снова начинают жить и даже лучше, чем раньше; про выставку арт нуво из Мюнхена, чуть не прошла мимо, когда была в филладельфийском музее. А ей важна эта выставка, поскольку ее сейчас занимает мировоззрение художников Германии на сломе веков. «Представляешь,— говорила она,—ходишь в музей, а там все, что ты выучила наизусть по альбомам и открыткам,— Клее, Архипенко, Шагал...» Где уж мне представить! В Филадельфию мы ездили с Ф., запомнила вид из окна: белый небоскреб, выросший после дождя сам по себе, рядом стена с какими-то каракулями, одна стена, но не бетонная, а тонкая, загораживающая часть стройки. Сколько всего я прошлапила!

Э. сидела за столом, подперев голову обеими руками, в ее серых глазах что-то словно промелькнуло, пробежало и исчезло. В глазах, разумеется, ничего бегать не может, но я видела, что там кто-то бегал. Именно в тот момент, когда я думала, что прошлапила что-то такое важное. И Э. сказала: трудно возвращаться из Парижа в гетто. Она ждала моего вопроса— причем Париж и какое гетто. Я думала: «Сейчас она объяснит, и я пойму, что промелькнуло в ее глазах». Не во взгляде, в нем только говорится, что что-то мелькает, а в глазах. Э. спросила, знаю ли я, что после детей, которых депортировали из Терезина в Освенцим, осталось много рукописных журналов. Откуда мне это знать? Возможно, им пользовался Люстиг, когда писал про Перлу, или они ему были не нужны. «Так вот,— сказала Э.,— я ездила в архив Терезина и все это видела». Глаза у Э. стали какими-то дикими, как у Кузьмы, мне почудилось, что она видит не меня, а тех детей. Тогда я спросила ее, причем все же Париж и гетто. Она ответила: «В Терезине жила девочка под псевдонимом Мерси, она написала рассказ «Мое будущее». О том, как после войны она поедет в Париж и поступит в университет. Там она быстро наверстает упущенное и двинется дальше. Ее пленяет Лувр. Она часами стоит перед полотнами больших мастеров,— так она пишет,— и перечисляет: Леонардо да Винчи, Ван Гог, Сера. Потрясенная, выходит из Лувра, мечтает скрыться от парижского многолюдья, чтобы в одиночестве пережить всю эту красоту. Она забывает есть, но не забывает писать домой подробные письма... А потом она отрывается от страницы и видит— Бауэрплац,— место, где их часами пересчитывали на апеле. Вот, собственно, и все,— сказала Э.,— гран мерси. Когда это пересказываешь, жутко, но не так, как когда это звенит в ушах, когда

это сопровождает тебя по Филадельфии и Бостону, когда с этим не можешь заснуть в университетской гостинице, когда с этим ничего нельзя поделать».

Я возразила: «У Мерси не было выбора, и у ее родителей не было выбора». Э. замотала головой. Она больше не может. Зацикленность добивает окончательно. Рождение ведет к смерти, смерть к рождению, из этого лабиринта нет выхода. А он наверняка есть, только мы его не знаем. Я спросила ее, видела ли она «Кукушкино гнездо». Да, у них шел этот фильм, она его видела. «Но,— сказала Э.,— она не похожа на тех сумасшедших, которые могут выйти из дурдома, но не хотят. Ведь есть два выхода— или выйти, или попробовать изменить что-то внутри». — «Но ты помнишь, чем кончился бунт в сумасшедшем доме?» Я опять сделала Э. больно.

18.17.16. Э. заснула. Я села за работу. Не удастся набирать механически. А. раздражает. Что было бы, если бы не убили Столыпина, что было бы, если бы не убили царя? Но убили Столыпина и убили царя! Бросила А., хотя близится срок сдачи. Э. бережит душу. Скорей бы она совершила перелет из Парижа в Терезин. Дурацкая шутка.

Решила проветриться. У Ника прекрасный сон, этим он тоже пошел в Т. А я научилась исчезать бесшумно. Босиком к двери, сапоги под мышкой.

Выхожу на охоту. Запаслась на пару дней. Заглянула в кафе. Ирландца нет. Спросила у бармена, куда подевался ирландец. Тот показал мне свои роскошные белые зубы. Ответил на испанском английском, что не знает, но рассчитывает скоро его увидеть. Десять лет тому назад здесь не было испанцев, теперь они открыли быстро, лавочки и цветочный магазин.

Когда я вернулась, то застала Э. стоящей на балконе в моей дубленке. Она проснулась, не обнаружила меня дома и испугалась. Чего испугалась? Что со мной может случиться? Откуда она знает, ей стало страшно. Я предложила ей водки с апельсиновым соком. Заварила чай с фиалкой. Сомневаюсь, что фиалка успокаивает, хотя вид цветущих фиалок... В чае они расправляют свои лепестки, но цвета нет. Он утрачен, и уже одно это не может утешить.

Под воздействием водки с фиалкой Э. пустилась в рассказы о посещении школ, больниц, дурдомов Америки. Инвалиды в колясках, разъезжающие по теологическому факультету, вернули ее в советские дома инвалидов и престарелых, и она завелась на полный оборот.

Дурочка, я же не покончу самоубийством от того, что в России бардак! Да ни один русский эмигрант не застрелится, если узнает, что на его родине детей подвергают принудительному психиатрическому лечению. Я— не связной Варшавского гетто, не Карский и никому не буду передавать эту информацию. Или она меня воспитывает? Ты, мол, сбежала для лучшей жизни, а я, мол, страдальца, кричу на весь мир о наших язвах и никто не внемлет. В дерьме не стоит копать, из него надо вылезать, сказала бы я ей, если бы знала, как это сделать. Оно же не снаружи, оно— в нас.

0.0.0. Я на нуле. Э. примеряла юбку. Сидит как влитая. Уговорила ее на парикмахера. Тем более, что после Севера у Э. лезут волосы клоками. Стрижка укрепляет корни.

0.17.100. Парикмахерская отменяется. Вместо парикмахерской она отправилась в Нью-Йоркский университет. На какую-то лекцию. Купила ей бальзам для волос и шампунь. Не знаю, о чем она думает! Туда же нужно все, даже стиральный порошок.

Звонил Р. Роман застопорился. Я сказала, ноу проблем,— я всегда к его услугам. Не отреагировал.

26.26.27. Уговорила Э. на еврейский ресторан в Гринвич-Вилидж. Там крутят фильмы Чарли Чаплина и дают мел рисовать на столах. Заказали специально для Э. «Оборвыша». Весь фильм смотрела не на экран, а на нее. Значит, и ее можно отвлечь от мраков, от неотступных мыслей, что делать с детьми, нанайцами и как помочь армянам. После обеда сыграли с ней в слова, пять-на-пять, на столе. Не представляла, что Э. такая азартная. Она проиграла и тотчас потребовала реванш, Я спросила Э., думает ли она о своих гагаузах, нанайцах

и якутах в постели. Вопрос не ко времени— Э. не находила шестибуквенного слова. Разглядела ее глаза. Серые, с зелеными вкраплениями, но не пятнышками, а мелкими многоугольниками (слово большое, фигурки малюсенькие) или призмами, сквозь них, наверное, совершенно причудливо все преломляется. С такими глазами нужно жить на свободе.

Показывала Э. нью-йоркскую достопримечательность— кафе, где собираются гомосексуалисты. С улицы видно, как они стоят за стойками, обнявшись. На Э. кафе не произвело никакого впечатления. Я спросила Э., как она относится к сексу— или у них там на это нет времени. Не знаю, почему я спрашивала именно у нее, именно об этом, именно этим вечером. Чтобы низвести Э. до моего примитивного уровня? Э. сказала, что она так устает в последние годы,— это лет десять,— что воспринимает это скорее как обязанность, редко иначе. Ну а кроме мужа? Э. пожала плечами. Она сказала, что здесь и там— разные установки. Здесь— на здоровую жизнь, где и разумный секс прибавляет здоровья. У нас по-другому. «Как по-другому?»— спросила я. Она ответила, что специально этим вопросом не занималась. У нее был роман до замужества, очень такой русский— долготерпение, недельные дежурства у телефона. Это ее вымотало. И больше не хочется. Да, в Корнельском университете она познакомилась с симпатичным парнем. Он работал в Индии и на Аляске, в школе. У него тоже, как и у Э., отморожены большие пальцы ног. Живет на берегу Фингер Лей. Холост. Дом, машина и собака Айси с Аляски. Подходящая пара! Наверняка он в нее влюбился. Э. ответила: вполне возможно, но из этого ничего не проистекает. Я сказала, что любовь неразумна, и что если влюбишься, то не думаешь, что из этого проистекает. Она возразила: муж остался с детьми не для того, чтобы она крутила романы на стороне. Я сказала, что не нахожу прямой связи между этими двумя фактами. Оказывается, ее страшит раздвоенность. Я сказала, что не вижу здесь никакой раздвоенности. Мужчина, с которым спишь, делает тебя другой, ну, не с которым только спишь,— для Э. это могло прозвучать грубо,— с которым сосуществуешь, пусть временно. Это же такой соблазн: узнать другого и увидеть себя иной. Я несла чушь, Э. молчала. Наверное, думала обо мне то, что я и есть на самом деле и чего я заслуживаю.

2.6.85. Нужно что-то сделать с собой. Я— пустота, о которую ничто не споткнется. Где-то я вычитала такие слова. Пустота не может поставить подножку. Но тело, в котором пустота обретается, может соединяться с другими. В такие мгновения возникает иллюзия наполнения тела плотью души. Сама не понимаю, что пишу. Р. молчит. С тоски набрала две трети идиотского текста А. Может, он заикленный и вгоняет меня в транс? Я уезжала в двадцать семь лет. Через неделю стукнет сорок. Наверное, все и там постарели, обрюзгли, облысели. Хотя Э. не очень изменилась. Но я ее помню только беременной. Что нас, девушек, не красит. Э. встретила здесь многих друзей, с которыми распрощалась на веки вечные десять-пятнадцать лет тому назад. Говорит, что это как встречи с призраками. Я для нее призрак из Минска. Призрак в квадрате, поскольку она уезжала из Минска до того, как я— в Нью-Йорк.

98.76.59. Э. собирает вещи. Сидит на чемодане, приминает тряпки и книги. Рассказывает: ездила к своей бывшей очень близкой подруге в Эмхерст. Та, когда уезжала, клялась ей— главным ее делом будет помощь тем, кто остался. Но не написала ни одного письма. Э. спросила ее о причинах молчания. Подруга объяснила: ей было стыдно писать. Такие нормальные проблемы, все разрешимые. С Россией нужно рвать сразу, окончательно и бесповоротно. Иначе умрешь от мысли о тех, кто там остался. Э. сочла такое объяснение убедительным. У нее точно такое же чувство— невозможно видеть все это изобилие, невозможно спокойно жить здесь, зная, как там. Куда же она едет?!

1.8.4. Прибыл К. Чтобы повидаться с Э. Тоже старые приятели. К.— психотерапевт, а Э. интересуется наукой о человеке. Меня нисколько. Я зевала, в который раз слушая теорию К., остроумную и никчемную, как все, что придумывают мужчины. Суть ее в том, что нужно наслаждаться. Не ново, прямо скажем. Но почему? А вот почему: при современных способах регу-

лирования деторождения на свет появляется лишь тот, кого запланировали. Единицы— вне плана. Мы же— продукты неосторожной любви, везунчики, мы родились благодаря запрету на аборты и полному отсутствию гигиены брака. Мы должны торжествовать— провели собственных родителей. Ни в коем случае не строить из себя жертв. Жертва— это красиво, но в нашем случае— аморально. У жертвы нет выбора. Те, кто упорно продолжает считать себя жертвой режима, плохого мужа, вредного начальника, позорят нашу гвардию случайно рожденных. Им, видите ли, стыдно признаться, что хорошо жить— хорошо, а плохо— плохо. Им нравятся смешанные чувства, поскольку они считают своей родиной смешанные леса.

К. растолстел, обрюзг. Его жена, американская Пульхерия Ивановна, приносит своему еврейскому Обломову булки в постель и подкладывает подушки под спину, чтобы кровь не застаивалась во время приема пациентов. Что ж, К. наконец-то реализовал свою мечту. Иногда задремывает в офисе под монотонные исповеди пациентов. Его бесит слово «проблема», проблемы на каждом шагу, их плохо берет гипноз.

И это не Америка сделала, не надо! Это— характер. Обломов в Америке на самом деле мало отличается от Обломова на родине. Разве что манерами Штольца, таким напускным деловизмом. Я бы посадила К. на яблочную диету.

2.8.91. Они ударились в воспоминания. Как напились, и Э. убежала через дорогу на кладбище. К. нашел ее сидящей на мраморной плите. Привел домой, где всегда было полно народу, и уложил спать со своим старшим братом, других мест не было. Сказал брату: не трогай Э., она и так страдает. Они были знакомы с Э. еще до меня. К. подарил всем детям Э. по электронным часам, а ей самой косметичку. Тут он попал пальцем в небо. «Хорошее было время,— вздохнул К.,— но все-таки мы вовремя смылись». Еще К. вспомнил, как мы отослали в Союз снимки небоскребов, снятые с балкона. Народ опупел. «Но мы с Фаней и не думали никого потрясать». Для нас это был акт удостоверения географических широт— здесь мы живем. А так вот представить, а? После хрущоб и сталинских ящиков высоты с их изысканной симметрией! «Ты видела здесь хоть один небоскреб, который символизировал бы авторитарный стиль руководства?»— спросил он Э. Она поинтересовалась, где сейчас обитает К. Он сказал, что вредная Фаня вернула его в хрущобу, правда в центре, на Манхэттене, рядом с офисом, но привыкнуть обратно, как говорят, требует социального мужества. Э. была в восторге от К. Сказала, что он единственный, кто ну несколько не изменился. Возможно. Только почему эта мысль так нас тешит? Все пустотело.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.